

Его звали – Васека. Васека имел: двадцать четыре года от роду, один восемьдесят пять рост, большой утиный нос... и невозможный характер. Он был очень странный парень – Васека.

Кем он только не работал после армии! Пастухом, плотником, прицепщиком, кочегаром на кирпичном заводе. Одно время сопровождал туристов по окрестным горам. Нигде не нравилось. Поработав месяц-другой на новом месте, Васека приходил в контору и брал расчет.

– Непонятный ты все-таки человек, Васека. Почему ты так живешь? – интересовались в конторе.

Васека, глядя куда-то выше конторщиков, пояснял кратко:

– Потому что я талантливый.

Конторщики, люди вежливые, отворачивались, пряча улыбки. А Васека, небрежно сунув деньги в карман (он презирал деньги), уходил. И шагал по переулку с независимым видом.

– Опять? – спрашивали его.

– Что «опять»?

– Уволился?

– Так точно! – Васека козырял по-военному. – Еще вопросы будут?

– Куклы пошел делать? Хэх...

На эту тему – о куклах – Васека ни с кем не разговаривал.

Дома Васека отдавал деньги матери и говорил:

– Все.

– Господи!.. Ну что мне с тобой делать, верста коломенская? Журавь ты такой! А?

Васека пожимал плечами: он сам пока не знал, что теперь делать – куда пойти еще работать.

Проходила неделя-другая, и дело отыскивалось.

– Поедешь на бухгалтера учиться?

– Можно.

– Только... это очень серьезно!

– К чему эти возгласы?

«Дебет... Кредит... Приход... Расход... Заход... Обход... – И деньги! деньга! деньги!..»

Васека продержался четыре дня. Потом встал и ушел прямо с урока.

– Смехота, – сказал он. Он решительно ничего не понял в блестящей науке хозяйственного учета.

Последнее время Васека работал молотобойцем. И тут, помахав недели две тяжелой кувалдой, Васека аккуратно положил ее на верстак и заявил кузнецу:

– Все!

– Что?

– Пошел.

– Почему?

– Души нету в работе.

– Трепло, – сказал кузнец. – Выйди отсюда.

Васека с изумлением посмотрел на старика кузнеца.

– Почему ты сразу переходишь на личности?

– Балаболка, если не трепло. Что ты понимаешь в железе? «Души нету»... Даже злость берет.

– А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь.

– Может, попробуешь?

Васека накалил кусок железа, довольно ловко выковал подкову, остудил в воде и подал старику.

– Прошу.

Кузнец легко, как свинцовую, смял ее в руках и выбросил из кузницы.

– Иди корову подкуй такой подковой.

Васека взял подкову, сделанную стариком, попробовал тоже погнуть ее – не тут-то было.

– Что?

– Ничего.

Васека остался в кузнице.

– Ты, Васека, парень – ничего, но болтун, – сказал ему кузнец. – Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?

– Это верно: я очень талантливый.

– А где твоя работа сделанная?

– Я ее никому, конечно, не показываю.

– Почему?

– Они не понимают. Один Захарыч понимает.

На другой день Васека принес в кузницу какую-то штуkenцию с кулак величиной, завернутую в тряпку.

– Вот.

Кузнец развернул тряпку... и положил на огромную ладонь человечка, вырезанного из дерева. Человечек сидел на бревне, опершись руками на колени. Голову опустил на руки; лица не видно. На спине человечка, под ситцевой рубахой – синей, с белыми горошинами – торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпалинами. Рубаха тоже прожжена в нескольких местах. Шея тонкая и жилистая.

Кузнец долго разглядывал его.

– Смолокур, – сказал он.

– Ага, – Васека глотнул пересохшим горлом.

– Таких нету теперь.

– Я знаю.

– А я помню таких. Это что он?.. Думает, что ли?

– Песню поет.

– Помню таких, – еще раз сказал кузнец. – А ты-то откуда их знаешь?

– Рассказывали.

Кузнец вернул Васеке смолокура.

– Похожий.

– Это что! – воскликнул Васека, заворачивая смолокура в тряпку. – У меня разве такие есть!

– Все смолокуры?

– Почему?.. Есть солдат, артистка одна есть, тройка... еще солдат, раненый. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю.

– А у кого ты учился?

– А сам... ни у кого.

– А откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например...

– Я все про людей знаю, – Васека гордо посмотрел сверху на старика.

– Они все ужасно простые.

– Вон как! – воскликнул кузнец и засмеялся.

– Скоро Стеньку сделаю... поглядишь.

– Смеются над тобой люди.

– Это ничего, – Васека высморкался в платок. – На самом деле они меня любят. И я их тоже люблю.

Кузнец опять рассмеялся.

– Ну и дурень ты, Васека! Сам про себя говорит, что его любят! Кто же так делает?

– А что?

– Совестно небось так говорить.

– Почему совестно? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю.

– А какую он песню поет? – без всякого перехода спросил кузнец.

– Смолочур-то? Про Ермака Тимофеича.

– А артистку ты где видел?

– В кинофильме, – Васека прихватил щипцами уголек из горна, прикурил. – Я женщин люблю. Красивых, конечно.

– А они тебя?

Васека слегка покраснел.

– Тут я затрудняюсь тебе сказать.

– Хэ!.. – Кузнец стал к наковальне. – Чудной ты парень, Васека! Но разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне: какая тебе польза, что ты смолочура этого вырезал? Это ж все-таки кукла.

Васека ничего не сказал на это. Взял молот и тоже стал к наковальне.

– Не можешь ответить?

– Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят, – ответил Васека.

...С работы Васека шагал всегда быстро. Размахивал руками – длинный, нескладный. Он совсем не уставал в кузнице. Шагал и в ногу – на манер марша – подпевал:

Пусть говорят, что я ведра починяю,
Эх, пусть говорят, что я дорого беру!
Две копейки – донышко,
Три копейки – бок...

– Здравствуй, Васека! – приветствовали его.

– Здорово, – отвечал Васека.

И шел дальше.

Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и не выходил оттуда до утра: вырезал Стеньку Разина.

О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарович, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Васека, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Васека талант-

ливый. Он приходил к Васеке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы. Последнее время начал попивать. Васека глубоко уважал старика. До поздней ноченьки сиживал он на лавке, поджав под себя ноги, не шевелился – слушал про Стеньку.

– ... Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу... чуточку рябоватый. Одевался так же, как все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу... и прочее. Это ж был человек! Как развернется, как глянет исподлобья – травы никли. А справедливый был!.. Раз попали они так, что жрать в войске нечего. Варили конину. Ну и конины не всем хватало. И увидел Стенька: один казак совсем уж отошал, сидит у костра, бедный, голову свесил: дошел окончательно. Стенька толкнул его – подает свой кусок мяса. «На, – говорит, – ешь». Тот видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь сам, батька. Тебе нужнее». – «Бери!» – «Нет». Тогда Стенька как выхватил саблю – она аж свистнула в воздухе: «В три господу душу мать!.. Я кому сказал: бери!» Казак съел мясо. А?.. Милый ты, милый человек... душа у тебя была.

Васека, с повлажневшими глазами, слушал.

– А княжну-то он как! – тихонько, шепотом, восклицал он. – В Волгу взял и кинул...

– Княжну!.. – Захарыч, тщедушенький старичок с маленькой сухой головой, кричал: – Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал! Он их как хотел делал! Понял? Сарынь на кичку! И все.

... Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Васека аж с лица осунулся. Не спал ночами. Когда «делалось», он часами не разгибался над верстаком – строгал и строгал... швыркал носом и приговаривал тихонько:

– Сарынь на кичку.

Спину ломило. В глазах начинало двоиться. Васека бросал нож и прыгал по горнице на одной ноге и негромко смеялся.

А когда «не делалось», Васека сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову. Сидел час, два – смотрел на звезды и думал про Стеньку.

Приходил Захарыч, спрашивал:

– Василий Егорыч дома?

– Иди, Захарыч! – кричал Васека. Накрывал работу тряпкой и встречал старика.

– Здоровеньки булы! – так здоровался Захарыч – «по-казацки».

– Здорово, Захарыч.

Захарыч косился на верстак.

– Не кончил еще?

– Нет. Скоро уж.

– Показать можешь?

– Нет.

– Нет? Правильно. Ты, Василий... – Захарыч садился на стул, – ты – мастер. Большой мастер. Только не пей. Это гроб! Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. Где смолокур? Дай...

Васека подавал смолокура и сам впивался ревнивыми глазами в свое произведение.

Захарыч, горько сморщившись, смотрел на деревянного человечка.

– Он не про Ермака поет, – говорил он. – Он про свою долю поет. Ты даже не знаешь таких песен. – И он неожиданно сильным, красивым голосом запел:

О-о-эх, воля, моя воля!
Воля вольная моя.
Воля – сокол в поднебесье,
Воля – милые края...

У Васеки перехватывало горло от любви и горя.

Он понимал Захарыча. Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать... всех людей. И любовь эта жгла и мучила – просилась из груди. И не понимал Васека, что нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться.

– Захарыч... милый, – шептал Васека побелевшими губами, и крутил головой, и болезненно морщился. – Не надо, Захарыч... Я не могу больше...

Чаще всего Захарыч засыпал тут же, в горнице. А Васека уходил к Стеньке.

... День этот наступил.

Однажды перед рассветом Васека разбудил Захарыча.

– Захарыч! Все... иди. Доделал я его.

Захарыч вскочил, подошел к верстаку...

Вот что было на верстаке:

... Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька, в исподнем белье, бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их. Он знал этих, которые ворвались: он делил с ними радость и горе. Но не с ними хотел разделить атаман последний час свой. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. Они хотели жить. Это не братва, одуревшая в тяжком хмелю, вломилась за полночь качать атамана. Он кинулся к оружию... но споткнулся о персидский ковер, упал. Хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки... Завозились. Хрипели. Негромко и страшно ругались. С великим трудом приподнялся Степан, успел прилобанить одному-другому... Но чем-то ударили по голове тяжелым... Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень.

«Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора», – сказал он.

Глумились. Топтали могучее тело. Распинали совесть свою. Били по глазам...

Захарыч долго стоял над работой Васеки... не проронил ни слова. Потом повернулся и пошел из горницы. И тотчас вернулся.

– Хотел пойти выпить, но... не надо.

– Ну как, Захарыч?

– Это... Никак, – Захарыч сел на лавку и заплакал горько и тихо. – Как они его... а! За что же они его?! За что?.. Гады они такие, гады! – Слабое тело Захарыча содрогалось от рыданий. Он закрыл лицо маленькими ладонями.

Васека мучительно сморщился и заморгал.

– Не надо, Захарыч...

– Что не надо-то? – сердито воскликнул Захарыч, и закрутил головой, и замычал. – Они же дух из него вышибают!..

Васека сел на табуретку и тоже заплакал – зло и обильно.

Сидели и плакали.

– Их же ж... их вдвоем с братом, – бормотал Захарыч. – Забыл я тебе сказать... Но ничего... ничего, паря. Ах, гады!..

– И брата?

– И брата... Фролом звали. Вместе их... Но брат – тот... Ладно. Не буду тебе про брата.

Чуть занималось утро. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах.

По поселку ударили третьи петухи.

МИЛЬ ПАРДОН, МАДАМ!

Когда городские приезжают в эти края поохотиться и спрашивают в деревне, кто бы мог походить с ними, показать места, им говорят:

– А вон Бронька Пупков... он у нас мастак по этим делам. С ним не соскучитесь. – И как-то странно улыбаются.

Бронька (Бронислав) Пупков, еще крепкий, ладно скроенный мужик, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за пятьдесят, он был на фронте, но покалеченная правая рука – отстрелено два пальца – не с фронта: парнем еще был на охоте, захотел пить (зимнее время), начал долбить прикладом лед у берега. Ружье держал за ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор берданки был на предохранителе, сорвался – и один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже. Бронька сам оторвал его. Оба пальца – указательный и средний – принес и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:

– Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра.

Хотел крест поставить, отец не дал.

Бронька много скандалил на своем веку, дрался, его часто и нештучно бивали, он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде («педике») – зла ни на кого не таил. Легко жил.

Бронька ждал городских охотников как праздника. И когда они приходили, он был готов – хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние он знал как свои восемь пальцев, охотник был умный и удачливый.

Городские не скупались на водку, иногда давали денюжат, а если не давали, то и так ничего.

– На сколь? – деловито спрашивал Бронька.

– Дня на три.

– Все будет как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы.

Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хорошо. Городские люди – уважительные, с ними не манило подраться, даже когда выпивали. Он любил рассказывать им всякие охотничьи истории.

В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступал к главному своему рассказу.

Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо всех сил крепился... И когда он наступал, желанный, с утра сладко ныло под сердцем, и Бронька торжественно молчал.

– Что это с вами? – спрашивали.

– Так, - отвечал он. – Где будем отвальную соображать? На бережку?

– Можно на бережку.

...Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной реки, раскладывали костерок. Пока варилась щерба из чебачков, пропускали по первой, беседовали.

Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, закурился...

– На фронте приходилось бывать? – интересовался он как бы между прочим. Люди старше сорока почти все были на фронте, но он спрашивал и молодых: ему надо было начинать рассказ.

– Это с фронта у вас? – в свою очередь спрашивали его, имея в виду раненую руку.

– Нет. Я на фронте санитаром был. Да... Дела-делишки... - Бронька долго молчал. - Насчет покушения на Гитлера не слышали?

– Слышали.

– Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?

– Да.

– Нет. Про другое.

– А какое еще? Разве еще было?

– Было, – Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. – Прошу плеснуть. – Выпивал. – Было, дорогие товарищи, было. Кха! Вот настолько пуля от головы прошла, – Бронька показывал кончик мизинца.

– Когда это было?

– Двадцать пятого июля тыща девятьсот сорок третьего года. Бронька опять надолго задумался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое.

– А кто стрелял?

Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь.

– Где покушение-то было?

Бронька молчал.

Люди удивленно переглядывались.

– Я стрелял, - вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза... И смотрел, точно хотел сказать: «Удивительно? Мне самому удивительно». И как-то грустно усмехался.

Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывал палочкой отскочившие угольки в костер... Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови.

– Вы серьезно?

– А как вы думаете? Что, я не знаю, что бывает за искажение истории? Знаю. Знаю, дорогие товарищи.

– Да ну, ерунда какая-то...

– Где стреляли-то? Как?

– Из браунинга. Вот так: нажал пальчиком – и пук! – Бронька смотрел серьезно и грустно – что люди такие недоверчивые. Он же уже не хохмил, не скоморошничал.

Недоверчивые люди терялись.

– А почему об этом никто не знает?

– Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? А то вы не знаете... В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном.

– Это что-то смахивает на...

– Погоди. Как это было?

Бронька знал, что все равно захотят послушать.

– Разболтаете ведь?

Опять замешательство.

– Не разболтаем...

– Честное партийное?

– Да не разболтаем! Рассказывайте.

– Нет, честное партийное? А то у нас в деревне народ знаете какой...

Пойдут трепать языком.

– Да все будет в порядке! – людям уже не терпелось послушать.

– Рассказывайте.

– Прошу плеснуть, – Бронька опять подставлял стаканчик.

Он выглядел совершенно трезвым.

– Было это, как я уже сказал, двадцать пятого июля сорок третьего года. Кха! Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек двенадцать. Принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату... А в палате был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у него была небольшая - в ногу задело, выше колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня тот генерал и говорит: «Погоди-ка, санитар, не уходи». Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хочет, чтоб я его поддерживал. Жду. С генералами жизнь намного интересней: сразу вся обстановка как на ладони.

Люди внимательно слушают. Постреливает, попыхивает веселый огонек; сумерки крадутся из леса, наползают на воду, но середина реки, самая быстрина, еще блестит, сверкает, точно огромная длинная рыба несетя серединой реки, играя в сумраке серебристым телом своим.

– Ну, перевязали генерала... Доктор ему: «Вам надо полежать!» «Да пошел ты!» – отвечает генерал. Это мы докторов-то тогда боялись, а генералы-то их не очень. Сели мы с генералом в машину, едем куда-то. Генерал меня спрашивает: откуда я родом? Где работал? Сколько классов образования? Я подробно все объясняю: родом оттуда-то (я здесь родился), работал, мол, в колхозе, но больше охотничал. «Это хорошо – говорит генерал. – Стреляешь метко?» Да, говорю, чтоб зря не трепаться: на пятьдесят шагов свечку из винта погашу. А вот насчет классов, мол, не густо: отец сызмальства начал по тайге с собой таскать. Ну ничего, говорит, там высшего образования не потребуется. А вот если, говорит, ты нам погасишь одну зловредную свечку, которая раздула мировой пожар, то Родина тебя не забудет. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Поняли?.. Но я пока не догадываюсь.

Приезжаем в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня спрашивает. За границей, спрашивает, никого родных нету? Откуда,

мол! Вековечные сибирские. Мы от казаков приходим, которые тут недалеко Бий-Катунск рубили, крепость. Это еще при царе Петре было. Оттуда мы и пошли, почесть вся деревня...

– «Откуда у вас такое имя - Бронислав?»

– «Поп с похмелья придумал. Я его, мерина гривастого, разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в тридцать третьем году...»

«Где это? Куда сопровождали?»

– «А в город. Мы его взяли, а вести некому. Давай, говорят, Бронька, у тебя на него зуб - веди».

– «А почему, хорошее ведь имя?»

– «К такому имю надо фамилию подходящую. А я - Бронислав Пупков. Как в армии переключка, так - смех. А вон у нас Ванька Пупков - хоть бы што».

– Да, так что же дальше?

– Дальше, значит, так. Где я остановился?

– Генерал спрашивает...

– Да. Ну расспросил все, потом говорит: «Партия и правительство поручают вам, товарищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда, на передовую, приехал инкогнито Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его. Мы, говорит, взяли одного гада, который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопался. А должен был здесь перейти линию фронта и вручить очень важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шантрапа знают того человека в лицо».

– А при чем тут вы?

– Кто с перебивом, тому – с перебивом. Прошу плеснуть. Кха! Поясняю: я похож на того гада как две капли воды. Ну и начинается житуха, братцы мои! – Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испытывают приятное, исключительное чувство. Улыбаются. Налаживается некий тихий восторг. – Поместили меня в отдельной комнате тут же при госпитале, приставили двух ординарцев... Один – в звании старшины, а я - рядовой. «Ну-ка, говорю, товарищ старшина, подай-ка мне сапоги». Подает. Приказ – ничего не сделаешь, слушается. А меня тем временем готовят. Я прохожу выучку...

– Какую?

– Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться, подписку давал. По истечении пятьдесят лет – можно. Прошло только... – Бронька шевелил губами – считал. – Прошло двадцать пять. Но это само собой. Житуха продолжается! Утром поднимаюсь – завтрак: на первое, на второе, третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного, я его кэз шугану!.. Он несет спирт – его в госпитале навалом. Сам беру разбавляю, как хочу, а портвейный – ему. Так проходит неделя. Думаю, сколько же это будет продолжаться? Ну, вызывает наконец генерал: «Как, товарищ Пупков?» Готов, говорю, к выполнению задания! Давай, говорит. С богом, говорит. Ждем тебя оттуда Героем Советского Союза. Только не промахнись! Я говорю: если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или, говорю, лягу рядом с Гитлером, или вы выручите Героя Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича.

А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так, с флангов, шла пехота, а спереди – мощный лобовой удар танками.

Глаза у Броньки сухо горят, как угольки поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет – забыл. Блики огня играют на его суховатом правильном лице – он красив и нервен.

– Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал! – Бронька встает. – Я попал!.. Делаю по ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом железобетонном зале. Горит яркий электрический свет, масса генералов... Я быстро ориентируюсь: где Гитлер?

Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну...

– Сердце вот тут... горлом лезет. Где Гитлер?! Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил, куда стрелять – в усики. Я делаю рукой:

«Хайль Гитлер!» В руке у меня большой пакет, в пакете – браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету: давай, мол. Я ему вежливо ручкой – миль пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком языке говорю: фьюрэр! – Бронька сглотнул. – И тут... вышел он. Меня как током дернуло... Я вспомнил свою далекую Родину... Мать с отцом... Жены у меня тогда еще не было... – Бронька некоторое время молчит, готов заплакать, завывать, рвануть па груди рубаху... – Знаете, бывает: вся жизнь промелькнет в памяти... С медведем нос к носу – тоже так. Кха!.. Не могу! – Бронька плачет.

– Ну? – тихо просит кто-нибудь.

– Он идет ко мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке «смирно»... Он улыбался. И тут я рванул пакет... Смеешься, гад! Дак получай за наши страдания!.. За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За слезы наших жен и матерей!.. – Бронька кричит, держит руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе. – Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!! – Это уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина... И шепот, торопливый, почти невнятный: – Я стрелил... – Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову – лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит: – Я промахнулся.

Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, удивляет, что говорить что-нибудь – нехорошо.

– Прошу плеснуть, – тихо, требовательно говорит Бронька. Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный пережитым волнением. Вздыхает, кашляет. Уху отказывается есть.

...Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про «покушение».

Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушивать оскорбления и сам оскорблять. Жена его, некрасивая, толстогубая баба, сразу набрасывается:

– Чего как пес побитый плетешься? Опять!..

– Пошла ты!.. – вяло огрызается Бронька. – Дай пожрать.

– Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить безмемом! – орет жена. – Ведь от людей уж прохода нет!..

– Значит, сиди дома, не шляйся.

– Нет, я пойду сейчас!.. Я сейчас пойду в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызовут! Ведь тебя, дурака беспалого, засудят когда-нибудь! За искажение истории!..

– Не имеют права: это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать.

– Смеются, в глаза смеются, а ему... все божья роса. Харя ты немытая, скот лесной!.. Совесть-то у тебя есть? Или ее всю уж отшибли? Тьфу! – в твои глазыньки бесстыжие! Пупок!..

Бронька наводит на жену строгий злой взгляд. Говорит негромко, с силой:

– Миль пардон, мадам... Сейчас ведь врежу!..

Жена хлопала дверью, уходила прочь – жаловаться на своего «лесного скота».

Зря она говорила, что Броньке все равно. Нет. Он тяжело переживал, страдал, злился... И дня два пил дома. За водкой в лавочку посылал сынишку-подростка.

– Никого там не слушай, – виновато и зло говорил сыну. – Возьми бутылку и сразу домой.

Его действительно несколько раз вызывали в сельсовет, совестили, грозили принять меры... Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито, невнятно:

– Да ладно!.. Да брось ты! Ну?.. Подумаешь!..

Потом выпивал в лавочке «банку», маленько сидел на крыльце, чтоб «взяло», вставал, засучивал рукава и объявлял громко:

– Ну, прошу!.. Кто? Если малость изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!..

А стрелок он был правда редкий.

ЖЕНА МУЖА В ПАРИЖ ПРОВОЖАЛА

Каждую неделю, в субботу вечером, Колька Паратов дает во дворе концерт. Выносит трехрядку с малиновым мехом, разворачивает ее, и:

А жена мужа в Париж провожала, Насушила ему сухарей... .

При игре Колька, смешно отключив зад, пританцовывает.

Тара-рам, тара-рам, тара та-та-ра... . рам, Тари-рам, тари-рам, та-та-та... .

Старушки, что во множестве выползают вечером во двор, смеются. Ребятишки, которых еще не загнали по домам, тоже смеются.

А сама потихоньку шептала: «Унеси тебя черт поскорей!» Тара-рам, тара-рам, та-та-ра-ра... .

Колька – обаятельный парень, сероглазый, чуть скуластый, с льяным чубариком-чубчиком. Хоть невысок ростом, но какой-то очень надежный, крепкий сибирячок, каких запомнила Москва 1941 года, когда такие вот, ясноглазые, в белых полушубках, день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город.

– Коль, цыганочку!

Колька в хорошем субботнем подпитии, улыбочив.

– Валю-ша, – зовет он, подняв голову. – Брось-ка мне штиблеты – цыганочку товарищи просят.

Валюша не думает откликаться, она зла на Кольку, ненавидит его за эти концерты, стыдится. Колька знает, что Валюша едва ли выглянет, но нарочно зовет, ломая голос – «по-тирольски», чем потешает публику.

– Валю-ша! Отреагируй, лапочка!.. Хоть одним глазком, хоть левой ноженькой!.. Ау-у!..

Смеются, поглядывают тоже вверх... Валюша не выдерживает: с треском распахивается окно на третьем этаже, и Валюша, навалившись могучей грудью на подоконник, свирепо говорит:

– Я те сейчасотреагирую – кастрюлей по башке, кретин!

Внизу взрыв хохота; Колька тоже смеется, хотя... Странно это: глаза Кольки не смеются, и смотрит он на Валюшу трезво и, кажется, доволен, что заставил-таки сорваться жену, довел, что она выказала себя злой и неумной, просто дурой. Колька как будто за что-то жестоко мстит жене, и это очень на него непохоже, и никто так не думает – просто дурачится парень, думают.

К этому времени вокруг Кольки собирается изрядно людей, есть и мужики и парни.

– Какой размер, Коля?

– Фиер цванцихь – сорок два.

Кольке дают туфли (он в тапочках), и Колька пляшет... Пляшет он красиво, с остервенением. Враз становится серьезным, несколько даже торжественным... Трехрядка прикипает к рукам, в меру помогает цыганочке, где надо молчит, работают ноги. Работают четко, точно, сухо пощелкивают об асфальт носочки – каблочки, каблочки – носочки...

Опять взвывает гармонь, и треплется по вспотевшему лбу Кольки льняной мягкой чубарик. Молчат вокруг, будто догадываются: парень выплясывает какую-то свою затаенную горькую боль. В окне на третьем этаже отодвигается край дорогой шторы – Валя смотрит на своего «шута». Она тоже серьезна. Она тоже в плену иступленной, злой цыганочки. Три года назад этой самой цыганочкой Колька «обаял» гордую Валю, больше гордую, чем... Словом, в такие минуты она любит мужа.

Познакомился сибиряк Колька с Валюшей самым идиотским способом – заочно. Служил вместе с ее братом в армии, тот показал фотографию сестры... Сразу несколько солдатских сердец взволновалось – Валя была красивая. Запросили адрес, но брат Валин дал адрес только лучшему своему корешу – Кольке. Колька отправил в Москву свою фотографию и с фотографией – много «разных слов». Валя ответила... Завязалась переписка. Коля был старше Валиного брата на год, демобилизовался раньше, поехал в Москву один. Собралась вся Валина родня – смотреть Кольку. И всем Колька понравился, и Вале тоже. Смущало, что у солдатика пока что одна душа да чубчик, больше ничего нет, а главное, никакой специальности. Но решили, что это дело наживное. Так Коля стал москвичом, даже домой не доехал, к матери.

Стали они с Валюшей жить-поживать, и потихоньку до них стало доходить, что они напрочь чужие друг другу люди. Но было поздно: через год у них народилась дочка Нина, хорошенькая, круглолицая,

беленькая... Колька понял, что он тут сел намертво. Им сообща – родней – купили двухкомнатную кооперативную квартиру (родные Вали все потомственные портные, и Валя тоже классная портниха). Колька много раз менял место работы, но везде – сто, от силы сто двадцать рублей. А Валя имела до трехсот чистыми. Она работала телеграфисткой: сутки работает, двое дома – шьет.

Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, удивительную жадность к деньгам. Он попытался было воздействовать на нее, что нельзя же так-то уж, но получил железный отпор.

– У нас в деревне и то бабы не такие жадные...

– Заткнись со своей деревней, – посоветовала Валя. – Ехай туда, кому ты здесь нужен!

«Ну и влип... – терзался изумленный Колька. – Как влип!»

Он был парень не промах, хоть и «деревня», сроду не чаял и не гадал, что судьба изобразит ему такую колоссальную фигу. В армии он много думал о том, как он будет жить после демобилизации: во-первых, закончит десятилетку в вечерней школе (у него было девять классов), во-вторых... И в-третьих, и в-четвертых – все накрылось. Первый год он мыкался в поисках подходящей работы – сам того не сознавая, он, оказывается, искал работу, которая бы подходила не ему самому, а жене Вале, – таковой не подыскал, махнул рукой, остался грузчиком в торговой сети. Потом родилась дочка, и все свободное время он должен был отдавать ей, так как скупая Валя не наняла старушку, которая бы хоть гуляла с девочкой. Сама же шила, шила, шила. Десятилетка Колькина лопнула. Колька вечером сажал дочку на скамеечку во дворе и играл ей на гармошке и пел кривляясь:

Моя мечта не струйка дыма, Что тает вдруг в сиянье дня, Но вы прошли с улыбкой мимо. И не заметили меня.

Дочка смеялась, а Кильке впору было заплакать злыми, бессильными слезами. Он бы и уехал в деревню, но как подумает, что тогда он лишится дочери, так... Нет, это было выше сил, будь они хоть трижды сибирские – крепкие, способные вынести много. Все что угодно, только не это.

Полгода назад приезжала к ним мать Колькина, Валя приняла ее вежливо, но мать все равно боялась ее, лишний раз боялась ступить по квартире, боялась внучку на руки взять... Колька исказился, глядя на мать. Когда они остались одни, он упрекнул ее:

– Мам, ты че это?

– Че?

– Да какая-то... внучку на руки даже не взяла.

– Да боюсь я, сынок, че-нибудь не так сделаю.

– Ну, ты уж какая-то...

– Да ниче, че ты? Посмотрела вот – и слава богу. Хорошо живешь-то, сынок, хорошо. Куда с добром!.. Слава те, господи! И живи. Она бабочка-то ниче, с карахтером, правда, но такая-то лучше, чем размазня кака-нибудь. Хозяйка. Живите с богом.

Так и уехала мать с мыслью, что сын живет хорошо.

Когда супруги после ее отъезда поругались из-за чего-то, Валя куснула мужа в большое:

– Что же мамочка-то твоя?.. Приехала и сиди-ит, как... это... Ни обед ни разу не сготовила, ни с внучкой не погуляла... Барыня кособокая.

Колька впервые тогда шваркнул жену по загревку. Она, ни слова не говоря, умотала к своим. Колька взял Нину, пошел в магазин, выпил, пришел домой и стал ждать. И когда явились тесть с тещей, вроде не так тяжело было толковать с ними.

– Ты смотри, смотри-и, парень! – говорили в два голоса тесть и теща и стучали пальцами по столу. – Ты смотри-и!.. Ты – за рукоприкладство – в один миг вылетишь из Москвы. Нашелся!.. Для тебя мы ее растили, чтоб ты руки тут распускал?! Не дорос! С ней вон какие ребята дружили, инженеры, не тебе чета... .

– Что же вы сплеховали? Надо было хватать первого попавшегося и в загс – инженера-то. Или они хитрей вас оказались? Удовольствие получили – и в кусты? Как же вы так лопухнулись?

Тут они поперли на него в три голоса.

– Кретин! Сволочь!

– А вот мы сейчас милицию! А вот мы сейчас милицию вызовем!..

– Живет на все готовенькое, да еще!.. Сволочь!

– Голодранец поганый!

– Кретин!

Дочка Нина заплакала. Колька побелел, схватил топорик, каким мясо рубят, пошел на тестя, на жену и на тещу. Негромко, но убедительно сказал:

– Если не прекратите орать, я вас всех, падлы... Всех уложу здесь!

С того раза поняли супруги Паратовы, что их жизнь безнадежно дала трещину. Они даже сделали вид, что им как-то легче обоим стало, вольнее. Валя стала куда-то уходить вечерами.

– Куда это? – спрашивал Колька, прищემив боль зубами.

– К заказчикам.

Спали, впрочем, вместе.

– Ну как заказчики? – интересовался ночью Колька, и похлопывал жену по мягкому телу, и смеялся – не притворялся, действительно смех брал, правда, нервный какой-то смех.

– Дурачок, – спокойно говорила Валя. – Не думай – не из таких.

– Вы не из таких, – соглашался Колька, – вы из таковых.

Бывало, что по воскресеньям они втроем – с дочкой – ездили куда-нибудь. Раза три ездили на ВДНХ. Заходили в шашлычную, Колька брал шашлыки, бутылку хорошего вина, конфет дочери... Вкусно обедали, попивали вино. Колька украдкой взглядывал на жену, думал: «Что мы делаем? Что делаем, два дурака?! Можно же хорошо жить. Ведь умеют же другие!»

Смотрели на выставке всякую всячину, Колька любил смотреть сельхозмашины, подолгу простаивал перед тракторами, сеялками, косилками... Мысли от машин перескакивали на родную деревню, и начинала болеть душа. Понимал, прекрасно понимал: то, как он живет, – это не жизнь, это что-то очень нелепое, постыдное, мерзкое... Руки отвыкли от работы, душа высыхает – бесплодно тратится на мелкие, мстительные, едкие чувства. Пить научился с торгашами. Поработать не поработают, а бутылки три-четыре «раздавят» в подвале (к грузчикам еще

пристегнулись продавцы – мясники, здоровые лбы, беззаботные, как колуны). Что же дальше? Дальше – плохо. И чтобы не вглядываться в это отвратительное «дальше», он начинал думать о своей деревне, о матери, о реке... Думал на работе, думал дома, думал днем, думал ночами. И ничего не мог придумать, только травил душу, и хотелось выпить.

«Да что же?! Оставляют же детей! Виноват я, что так получилось?»

Люди давно разошлись по домам... А Колька сидит, тихонько играет – подбирает что-то на слух, что-то грустное. И думает, думает, думает. Мысленно он исходил свою деревню, заглянул в каждый закоулок, посидел на берегу стремительной чистой реки... Он знал, если он придет один, мать станет плакать: это большой грех – оставить дите родное, станет просить вернуться, станет говорить... О господи! Что делать? Окно на третьем этаже открывается.

– Ты долго там будешь пилить? Насмешил людей, а теперь спать им не даешь. Кретин! Тебя же сейчас во всех квартирах обсуждают!

Колька хочет промолчать.

– Слышишь, что ли? Нинка не спит!.. Клоун чертов.

– Закрой поддувало. И окно закрой – она будет спать.

– Кретин!

– Падла!

Окно закрывается. Но через минуту снова распахивается.

– Я вот расскажу кому-нибудь, как ты мечтал на выставке: «Мне бы вот такой маленький трактор, маленький комбайник и десять гектаров земли». Кулачье недобитое. Почему домой-то не поехал? В колхоз неохота идти? Об одиноличной жизни мечтаете с мамашей своей... Не нравится вам в колхозе-то? Заразы, мещаны.

Самое чудовищное, что жена Валя знала: отец Кольки, и дед, и вся родня – бедняки в прошлом и первыми вошли в колхоз, Колька ей рассказывал.

Колька ставит гармонь на скамейку... Хватит! Надо вершить стог. Эта добровольная каторга сделает его идиотом и пьяницей. Какой-то конец должен быть.

Скоро преодолел он три этажа... Влетел в квартиру. Жена Валя, зачуяв недоброе, схватила дочь на руки.

– Только тронь! Только тронь посмей!..

Кольку било крупной дрожью.

– П-положь ребенка, – сказал он, заикаясь.

– Только тронь!..

– Все равно я тебя убью сегодня, – Колька сам подивился – будто не он сказал эти страшные слова, а кто-то другой, сказал обдуманно. – Дождалась ты своей участи... Не хотела жить на белом свете? Подыхай. Я тебя этой ночью казнить буду.

Колька пошел на кухню, достал из ящика стола топорик... Делал все спокойно, тряска унялась. Напился воды... Закрыв кран. Подумал, снова зачем-то открыл кран.

– Пусть течет пока, – сказал вслух.

Вошел в комнату – Вали не было. Зашел в другую комнату – и там нет.

– Убежала, – вышел на лестничную площадку, постоял... Вернулся в квартиру. – Все правильно...

Положил топорик на место... Походил по кухне. Достал из потайного места початую бутылку водки, налил стакан, бутылку опять поставил на место. Постоял со стаканом... Вылил водку в раковину.

– Не обрадуютесь, гады.

Сел... Но тотчас встал – показалось, что на кухне очень мусорно. Он взял веник, подмел.

– Так? – спросил себя Колька. – Значит, жена мужа в Париж проводжала? – Закрыв окно, закрыл форточку. Закрыв дверь. Закурил, курнул раза три подряд поглубже, загасил папиросу. Взял карандаш и крупно написал на белом краешке газеты: «Доченька, папа уехал в командировку».

Положил газетку на видное место... И включил газ, обе горелки...

Когда рано утром пришли Валя, тесть и теща, Колька лежал на кухне, на полу, уткнувшись лицом в ладони. Газом воняло даже на лестнице.

– Скотина! И газ не... – но тут поняла Валя. И заорала.

Теща схватилась за сердце.

Тесть подошел к Кольке, перевернул его на спину.

У Кольки не успели еще высохнуть слезы... И чубарик его русский был смят и свалился на бочок. Тесть потряс Кольку, приоткрыл пальцами его веки... И положил тело опять в прежнее положение.

– Надо... это... милицию.